

Дела и люди старого города

ВОСПОМИНАНИЯ О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ, ПРОЖИТОМ И ПЕРЕЖИТОМ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Как заботливый учетчик бережно подбирает и тщательно подытоживает отдельные статьи прихода и расхода, так старый литератор-общественник подводит итоги уходящей жизни, суммируя в своей памяти события прошлого.

Составление заключительного жизненного баланса — прямая задача старости, ее обязанность перед молодостью, перед «сменой», вступающей в жизнь в интереснейший исторический момент.

Прошлое б. Нижегородского края, города Нижнего, его «макарьевской» ярмарки, громадного по объему и значению волжского судоходства, крепко связавшего свои жизненные нити с древним городом, цепь разнообразных бытовых событий и галерея действующих лиц — все это требует особо внимательного подытоживания фактов и освещения их характерных особенностей.

Последние 50 лет перед революцией ярко выявили условия, направляющие жизнь старого города по новому руслу.

Среди людей нижегородского прошлого — строителей и борцов за новую жизнь — выделяется могучая фигура Максима Горького — Алексея Максимовича Пешкова: в Нижнем писатель родился, провел детство, юность и молодость.

Свои детские годы он правдиво-художественно отразил в великолепнейшей хронике — «Детство». Для нижегородцев, сверстников писателя, это горьковское «Детство» — своеобразная настольная книга жизни.

История прошлого, история нашего собственного детства, тесно связанного, как и у писателя, со Звездинскими, Дюковскими, Острожными прудами, с

Полевой, Канатной, Напольно-Замковой и особо еще Острожной улицами, с оврагами, «Кадочкой», юродивым «Егошей-смерть в кармане» и прочими яркими местами и фактами детского бытия, помимо ценности воспоминаний и известной прелести ярко восстановленных картин прошлого, как бы побуждает пополнить новыми фактами эту красочную галерею отображенных писателем образов и событий.

Автор воспоминаний — сверстник Алексея Максимовича и связан с ним 40-летней дружественной приязнью, не прервавшейся до настоящего времени. Близость эта, между прочим, охватывает интересный период жизни писателя — 1896 — 1901 годы — расцвет его таланта.

Более ранний период — детский, юношеский — приходится отмечать и восстанавливать по оставшимся в памяти фактам детской жизни, носящим общий характер для однолеток, живших почти рядом, в условиях домашней жизни и влияния улицы, почти одинаковых. Отсюда — естественная общность детских интересов и оценки их.

Приступая к воспоминаниям, в основе своей связанным с жизнью и деятельностью писателя-нижегородца, следует отметить, что эти воспоминания будут полны и ценны при условии известного освещения ряда далеких полупутных нижегородских событий, жизненных картин и характеристики интересных и ярких лиц — нижегородцев, выявления отношения этих лиц и событий к писателю, влияния их на писателя и, наоборот, — влияния на них самого писателя.

Зарисовку событий приходится делать скоро, теперь же. Былые картины с годами покрываются туманом, а некоторые целиком уходят из памяти

живых очевидцев, ряды которых с каждым новым днем заметно редуют. Пройдет немного лет, остатки событий старого отойдут от жизни вместе с их свидетелями. Прошлое как бы умрет, а в нем все же было много интересного и поучительного.

СТАРЫЙ НИЖНИЙ.

Историческое прошлое старого города. Николай I в Нижнем в сороковых годах. Атаман Рузавин и генерал Вердеревский. Старая Покровка и знаменитый пожар гостиницы Барбатенко в 1880 году. План города после «воли». Старое дворянство, купечество и разночинцы. «Муразиада». Муравьевская башня на Гребешке.

Москва - собирательница, захватив Нижний-Новгород и поставив здесь своего ответственного приказчика-воеводу, первым делом начала крепить власть в новой своей вотчине, для чего и приступила к постройке кремлевских стен, церквей и острогов. Таков исторический путь старой нижегородской жизни: крепость — сила, церковь — разум и острог — власть. Три кита, на которых стал древний купеческий город. Вокруг китов поднимались кверху мертвые глыбы камня, положившие начало мур-

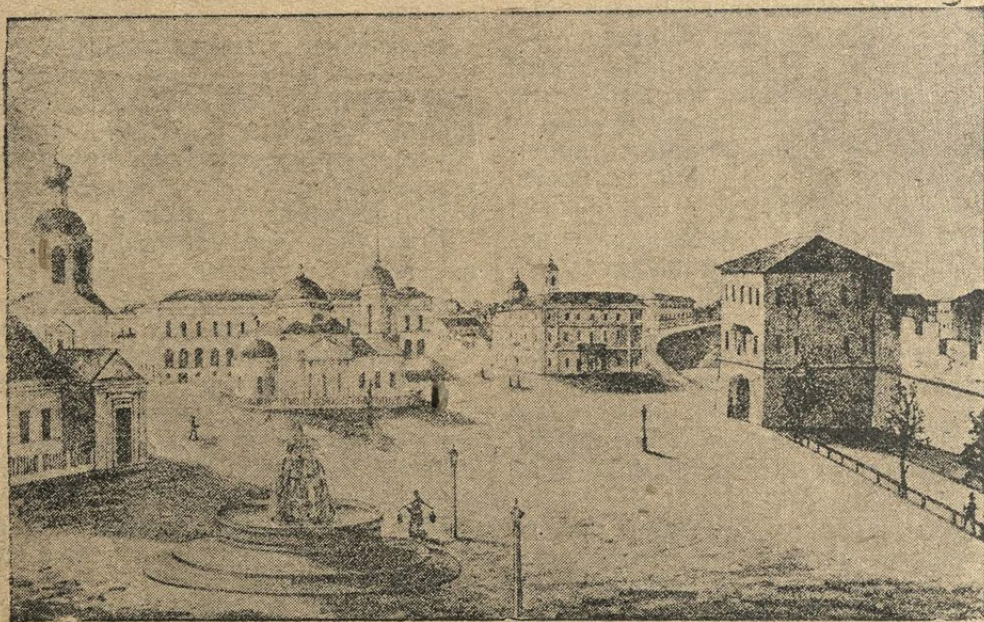
рой нижегородской истине: «дома здесь каменные, а сердца людей железные...»

Разрастаясь с годами, уходя в стороны от старинных стен, образуя ряд улиц, переулков, старый город дал последним соответствующие названия: от церкви пошли улицы — Тихоновская, Варварка, Алексеевская, Покровка; от острогов: Острожная улица, Острожный переулок, Острожная площадь, Арестантская площадь, Напольно-Замковая (от слова замок — острог) улица.

Ущемленная обывательская мысль работала в одном направлении: Варвара-великомученица, покров богородицы, острог, замок, арестантские роты.

Были улицы и местности, названные именами людей, живших здесь, — Кизевтерская, Готмановская, а также построивших большие здания, сооружения. Инженер П. Н. Лик когда-то устроил дамбу через Почаинский овраг. Дамбе дали имя Лика, она стала называться «Ликовой». Прошли года, Лика забыли, а коммерсанты-нижегородцы решили, что в названии ошибка: не Лик, а лыко, и дамба стала называться «Лыковой».

Нижнюю часть города — Нижний Базар с верхней связывали с'езды: Ивановский Зеленский, Успенский, Суегинский. Крайними с'ездами были — Георгиевский, Похвалинский. Плохо



СТАРЫЙ НИЖНИЙ

Благовещенская площадь, прямо — здание старого городского театра.

мощные, неблагоустроенные, с обсыпавшимися от действия подпочвенных вод откосами, с'езды ранней весной и осенью были трудно проходимы.

В памяти обывателей сохранился исторический рассказ о городских путях сообщения в далеком прошлом.

В сороковых годах в Нижний приехал царь Николай I. На Ивановском с'езде царский экипаж утонул в грязи и настолько глубоко, что вытащить его не удалось. Собор, где царя на паперти ждал архиерей с духовенством, был недалеко и, выбравшись из экипажа, Николай пешком направился к паперти, где и был встречен приветственным словом. Последнее затянулось. Шел мелкий дождь. Падая на непокрытую царскую голову, дождевые капли смачили искусственную накладку на лысой царской голове. Накладка сползла к воротнику царского мундира. Догадавшись закончить речь, архиерей повел плохо настроенного неудачами царя в собор, в нижнем этаже которого была гробница Минина. Ход к гробнице крутой и узкий.

— Поберегите, государь, голову, — услужливо предупредил архиерей.

Николай не выдержал:

— Береги, поп, митру. Не поручусь, что она на твоей голове останется...

Митра осталась. Во время обеда, данного царю городским головой Переплетчиковым, состоялось примирение.

Улицы от кремля упирались в окраинные долины с ручьями и прудами, за ними — поле, изломанное глубокими оврагами, а там — леса, остатки векового мордовского бора. В половине прошлого столетия в этом бору близ Оранок водились настоящие разбойники. Один из атаманов шайки, бородастый мордвин Рузавин, памятен нижегородцам по своим лихим набегам-разбоям, а главное по обстановке торжественной казни, которая совершена была над ним в Нижнем, на Арестантской площади. Рузавин на все стороны кланялся в пояс народу, который заполнил все пространство громадной площади. Просил у народа прощения... Масса была настроена скорее дружелюбно к атаману и одобрительным гулом отвечала на его слова и поклоны.

Вторая казнь на той же площади совершена была в половине шестидесятых годов. Это уже был не ужас физической смерти, а театральная инсценировка ее.

Публично на площади при тысячах зрителей управляющий казенной палатой генерал Вердеревский был лишен чинов, орденов, над его головой палач ломал дворянскую шапку, заранее подпиленную, чтобы не испортить чисто театральный эффект дворянской смерти.

Генерал Вердеревский был вдохновителем и исполнителем большого дела — кражи казенной соли.

«Соляная эпопея» — это история многолетнего и организованного хищения казенных соляных запасов кучкой «соляных» чиновников. Запасы этого продукта, по тогдашнему времени весьма ценного — до 70 коп. за пуд, включая сюда высокий акциз, — хранились в особых соляных амбарах, расположенных по берегу реки Оки. В течение лета в эти амбары завозились миллионы пудов соли. Распродавая зимой соль на сторону, генерал Вердеревский и его чиновники, так называемые «соляные» пристава, весной после спада воды представляли отчет, из которого было видно, что крупные от зимней продажи остатки соли, после разлива реки растворялись в окской воде и натурально исчезали, о чем составлялся надлежащий акт. Факт гибели соли «по божьей воле» предавался забвению, а выручка делилась участни-



Нижегородский купец.

ками по чинам, заслугам и способностям. Рынок сбыта краденой казенной соли находили местные коммерсанты, ставшие впоследствии от операций с солью миллионерами.

В злополучный для чиновников год, когда соль была продана и фактически увезена со складов-амбаров еще по зимнему пути, а увезено ее было до двух миллионов пудов, чиновники стали ожидать вскрытия реки и последующего за вскрытием разлива, который должен покрывать их операции. В этот несчастный для них год река прошла на малой воде. Водополье, благодаря холодной погоде, затянулось и прошло измором, прибыль была, но небольшая: вода не только не затопила амбары, но даже не дошла до них. Амбары были сухи и чисты. Экстренная по доносу главного «соляного» пристава Терского ревизия во всех амбарах обнаружила только 5000 пудов соли.

Генерала Вердеревского осудили в ссылку. Глава нижегородских коммерсантов Блинов по делу привлечен не был и, как сбытчик, оправдался, но остался в подозрении. Народная молва, народная совесть осудили однако миллионера Блинова. Считая его соучастником, молва распространила слух о присылке Блинову в подарок от отца из Петербурга пары чугунных галош весом в полпуда, которые Блинов был обязан надевать в царские дни.

Эти фантастические «чугунные галоши», переходя из рода в род, от поколения к поколению, в конце концов как бы приобрели характер реальной действительности.

В процессе гражданской казни «соляного» генерала был момент, когда преступник должен был просунуть свои руки в особые петли и с протянутыми вверх руками стоять перед народной массой, собравшейся в громадном числе.

Ловкий местный фотограф вздумал кое-что заработать на генеральском сраме: он заснял Вердеревского с поднятыми вверх руками. Родственники «соляного генерала» возмутились и потребовали от местных властей воспрещения распространять позорящие их честь карточки. Дело дошло до царя Александра II, который встал на сторону обиженного генерала и не только воспретил распространять фотографии, но постарался своей неограниченной

властью смягчить ему наказание, возвратив Вердеревского через небольшой промежуток времени из ссылки.

Главной центральной улицей старого города была Большая Покровка. Здесь в шестидесятых годах была уже мостовая, улица освещалась керосиновыми лампами. На Покровке были лучшие здания, театр, дворянское собрание. Как раз против собрания на противоположном углу старой Дворянской улицы, где теперь незастроенная площадь детского сада, находилось громадное здание гостиницы Барбатенко.

Хозяин последней был косой и скупой. У здания гостиницы был ряд фонарей, но хозяин не зажигал их. Это дало повод студентам в конце семидесятых годов распевать по адресу скупого трактирщика:

Святят тусклые оттенки
У косога Барбатенки.

Утром летнего дня 1880 года в здании гостиницы Барбатенко начался пожар. Пламя быстро охватило помещения, выходящие на Дворянскую улицу.

В те времена старый Нижний горел часто и сильно. Большие пожары благодаря скученности построек и отсутствию сильного водопровода не были редкостью, но пожар гостиницы был исключительным, небывалым по своим последствиям. Пожарные герои старого Нижнего — полицеймейстер Каргер и брандмайор старик Чапин проявляли чудеса сметки и неустрашимости. В дело была пущена в первый раз паровая машина, которая в два первые дня пожара досуха выбрала воду из глубокого Черного пруда. Тысячи жирных карасей, которыми был наполнен пруд, копошились в илу. Было отдано распоряжение срочно возами отправлять рыбу в богоугодные заведения — в богадельни, приюты, в острог. Обыватели таскали рыбу корзинами. Вся вода из Черного пруда ушла на спасение здания дворянского собрания, последнее окутали брезентами и без конца поливали. Огонь, истребив здание гостиницы, начал спускаться вниз к Алексеевской улице, уничтожая на пути все препятствия. От Алексеевской пламя повернуло вправо по направлению к Грузинскому переулку. Здесь, к концу четвертых суток огонь стих перед угловым зданием, в котором помещалась знаменитая нижегородская пивная «Золотая кружка».

Перед «Кружкой» огонь как бы оста-

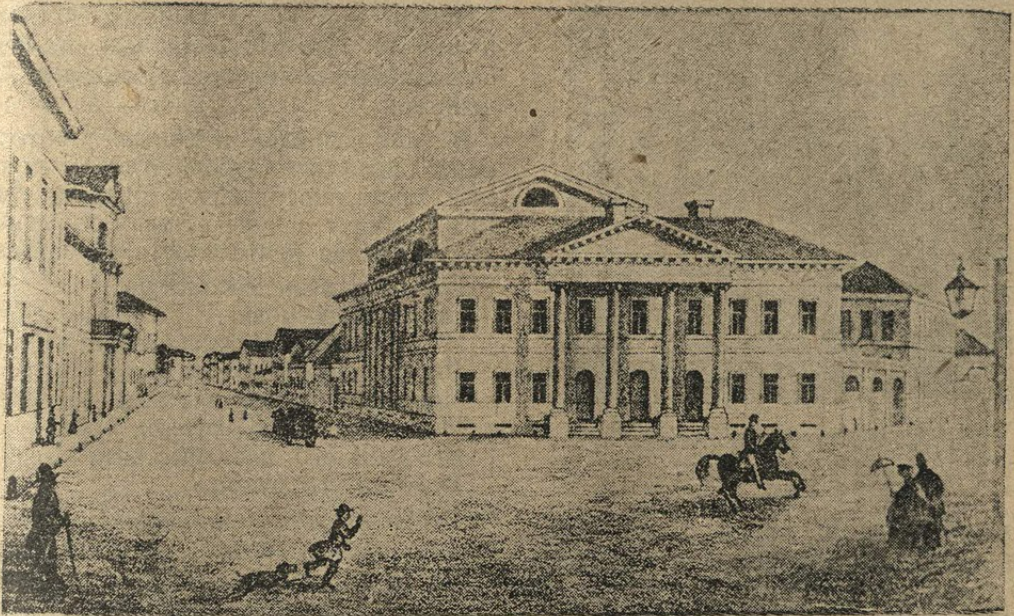
новился. Полицеймейстер Каргер и брандмайор Чапин, обессиленные и утомленные, уже бросили борьбу с огненной стихией, пожарные прекратили лопать, поливать, вскрывать крыши, швырять громадные листы на дорогу с криком: «полундра», неистово вопить: «дай», «качай». Все устали. Устал и огонь. Устал и затих как раз перед входом в пивную. Случай чудесного спасения города пивной «Золотая кружка» долго был в памяти старых нижегородцев.

План расположения обывательских домов в то старое время строго соответствовал классовому положению и имущественному состоянию жителей.

Перед «волей» и в первое время пос-

В позднейшие дни, в девяностые годы, когда «чумазый» совершенно распоясался, он, конечно, не постеснился выжить бывших господ, превратившихся в большинстве в скромных служилых людей, главным образом, земских начальников, из их родовых и насиженных дворянских мест на Покровке и Печерке.

Турчаниновы, Жадовские, Тыртовы, Черкасовы, Зыбины, Боглевские, Приклонские, Беклемишевы — цвет дворянской знати и былого величия, отошли в сторону, уступив свои места Башкировым, Бугрову, Зайцевым, Топоркову, Рукавишниковым, Бурмистрову и ряду других тузов капитала и их близким сотрудникам — доверенным, адвокатам,



СТАРЫЙ НИЖНИЙ.

Центральная улица Большая Покровка в пятидесятых годах. На первом плане здание бывш. Дворянского собрания, в настоящее время здесь клуб им. Я. Свердлова.

ле «воли» поблизости Кремля находились господские, дворянские постройки. Целый ряд когда-то знатных дворянских фамилий поселился здесь. Купечество обосновалось в стороне по Ильинке и ближним к ней улицам, спускаясь в дальнейшем по уступам гор к Нижнему Базару, к своему торговому центру. Купец был осторожен и еще почтительно «ломал шапку» перед ба-

обильно питавшимся от богатой купеческой трапезы.

Окраинными районами считались: «Ярило» — площадь на окском откосе, место кровавых схваток-драк обывателей верхних и подгорных слобод.

Гребешок — гребень горы над Благовещенским монастырем.

С Гребешком в старом городе до некоторой степени связана история пребывания в Нижнем губернатора Муравьева — деятеля эпохи борьбы ста-

рого нижегородского дворянства за крепостное право, за мужика, за даровую рабочую силу, за собственное благополучие.

Для дворянской провинциальной массы Нижегородской губернии грядущая «воля» была началом разорения и оскудения. Нет ничего удивительного, что



ГУБЕРНАТОР МУРАВЬЕВ.
Шестидесятые годы.

первые вести и слухи о ней, предположения о возможности отдалить эту «волю» порождали на местах открытую вражду с новыми веяниями, с лицами, стоявшими на стороне осуществления этих веяний, вне зависимости от положения этих лиц и занимаемой ими должности.

Крупным административным лицом, с которым пришлось бороться нижегородской дворянской массе, был губернатор А. Н. Муравьев — из семьи знаменитых Муравьевых. Сложная и любопытная личность. Основатель тайного общества, из которого вырос заговор декабристов. От масонских лож он подошел к заговору против царя и отказу от былых увлечений. В борьбе Муравьева с нижегородским дворянством выросла знаменитая «Муравиада» — стихотвор-

ный памфлет, направленный умирающим дворянством против губернатора-сторонника освободительных реформ.

«Муравиада» — громадное, чуть ли не в тысячу строк обвинение губернатора Муравьева, написанное в стихах довольно примитивных, любительских. Художественная бледность в этих стихах с избытком восполнена едкостью, пикантностью обвинений по адресу высшего в губернии административного лица. Автор — дворянин, вернее группа дворян — подобрал громадный материал и на каждой странице обливает нижегородского администратора поэтическими помоями.

«Муравиада» передает беседу автора с губернскими сплетницами, которых он называет «чечеточками» и «трещоточками». Он как бы подвергает сомнению их грязные намеки, а в действительности пополняет их новыми сведениями.

В «Муравиаде» и взятки, которые берет префект (губернатор) и доходные места, которые он раздает близким, поборы с купечества. Вспоминается масонская деятельность Муравьева:

Еще бы, ведь масонскую
Он ложу основал.
И за собой грессмейстерство
До сих пор удержал.
Понятно, что масоны все,
И в том числе Ланской,
Все под его владычеством,
Все под его рукой.

Губернаторствуя в Нижнем, Муравьев, по словам автора, не стесняется:

Да разве мы причиною,
Что с некоторых пор
Идет здесь под сурдиною
Всем людям перебор.
Помещиков, сановников —
Всех гонит наш кашей.
И давит он чиновников,
Как жирный кот мышей.

Около Муравьева группа сообщников:

Толкуйте... Да один ли он?
С ним вместе вся семья.
Берут, дерут со всех сторон,
Уж бог им всем судья!
Лакеи, камердинеры
Хапают в свой черед,
И правда, что, где поп каков,
Таков там и причет.

Вся соль и тяжесть обвинений против Муравьева заключается в его прошлой революционной деятельности. Чужая близость дворянской беды, автор «Муравиады» не стесняется и определенно причисляет врага к революционерам и политическим предателям:

Врагом своей он нации
В пятнадцатом году
На родину из Франции
Вернулся на беду.
Уставы либеральные
Стал первый сочинять,
Чтоб в цепи социальные
Россию заковать.
В России весь род царственный
На смерть он обрекал,
Рукою святотатственной
Им приговор писал.
Рассчитывал: авось-де я
В Кромуэли попаду,
Иль с Равеньяком об руку
В историю войду.
В декабрьском возмущении
Участья он не брал,
С личиной сокрушения
К царю без зла предстал.
Винился, ползал, каялся,
Все, все ему открыл.
Царь над преступным сжалился
И хитреца простил.

По мнению автора, царь поступил опрометчиво:

Царь сделал тем, трещоточки,
России много зла,
Ошибка незабвенного
Огромная была.

А вот как, по словам автора, Муравьев давал показания в следственной комиссии:

Он долго, как помешанный.
Стоял, вздыхал, молчал.
Вдруг бросился, как бешеный,
И пред иконой пал.
Ты, довременный, ведаешь,
Кто к злу меня склонял.
Вот тот и тот... и громко всех
По именам назвал.
Неслыханный, чечеточки,
Предатель и подлец,
И этот к нам правителем
Уселся во дворец.

От управления Муравьева автор ждет определенной беды:

Спокойствие в губернии
Нарушено давно,
В тревожном настроении
Народ весь заодно.

От власти отбивается
И волком смотрит в лес.
Владельцы ж раззоряются,
Порядок весь исчез.
Конец один, чечеточки,
Что вспыхнет бунт везде,
Народец наш на все пойдет,
Когда он не в узде.
Помимо борьбы с дворянскими вождями, Муравьев еще известен нижегородцам, как творец Муравьевской башни на Гребешке. Об этой башне автор «Муравиады» говорит:

Лелеял мысль сердечную
Давно наш Муравей,
Себе на память вечную
Воздвигнуть мавзолей.
Постройка неуклюжая
С часами с трех сторон.
Как Бобелина дюжая,
Пристанище ворон.
Красы и пользы городу
Нисколько не дает.
Надеются, что под гору
Современем сползет.

Долгие годы, почти полстолетия, на гористой круче над Окой стояла эта башня.

В шестидесятых и семидесятых годах башня представляла нечто цельное, оформленное, с круглой покатою крышей. По наружному виду она напоминала водонапорные башни-бассейны или водопроводные башни при железнодорожных станциях.

В круглых отверстиях башни под крышей были вставлены громадные циферблаты с внутренними часовыми механизмами. По циферблатам двигались стрелки, показывая часы и минуты. Стрелки были так громадны, что их было видно с противоположного ярмарочного берега, собственно и назначение этого сооружения было видеть с ярмарочной стороны передвижение стрелок.

— Ну-кось — говорил купец, глядяваясь через Оку на Гребешок, прикрывая широкой ладонью глаза от яркого солнца, — проверим времечко по губернаторским.

Туда же смотрит от соседней лавки приказчик:

— На муравьевской «дылде» двенадцатый в начале... Малый, собирай-ка обед...

Башня так и слыла в населении за «дылду».

Пренебрежительное отношение к ней в народе объяснялось прежде всего ничемностью постройки, ее непрактичностью. Это была барская, губернаторская затея. Со смертью Муравьева башня потеряла административно-хозяйственную поддержку и стала разрушаться. В восьмидесятых годах это разрушение носило уже определенный характер.

В один весенний день, это было в 1883 году, как то сразу омертвели часовые стрелки. Затем, вместо циферблатов оказались только мрачные круглые отверстия, как окна тюремной башни. Под разваливающейся крышей начали грудиться пучки соломы, прутьев — птичьи гнезда. Иногда от башни отваливались и падали камни, порой очень большие. С шумом и треском, ломая по пути враждебные кусты и препятствия, неслись эти обломки «дылды» по крутому откосу к самой реке.

— Опять «дылда» плюется, — говорили обыватели, прислушиваясь со страхом к шуму прыгающей каменной глыбы.

Быстро разрушаясь, башня к началу нового столетия почти сравнялась с землей и лишь остатки основных глыб, как корни зубов, напоминали об ее былом существовании. Посреди них «играла младая жизнь» — ребята с Гребешка, совершенно уже не знающие ни «дылды», ни творца ее — губернатора Муравьева, ни старого нижегородского дворянства, так упорно враждовавшего с этим человеком.

Жизнь сама, без муравьевской башни, без страшной уродливой «дылды» показывала и время и дело...

ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ М. ГОРЬКИЙ

Ковалиха — ближайшая окраина старого города. За последние годы эта местность сменила свое старое название и официально по документам и вывескам стала называться «улица Максима Горького».

Новые вывески не стерли в памяти обывателей-старожилов старое название: местность для многих попрежнему Ковалиха. У этих людей слишком много связано ярких воспоминаний и со старой местностью, и со старым ее названием.

Называлась она Ковалихой потому, что здесь с испокон века были жили-

ща и мастерские нижегородских «ковалей» — кузнецов. Вообще, Ковалиха была улицей городского мастерства: помимо кузниц, здесь ютились красильные, экипажные, шорные, столярные и другие мастерские. На Ковалихинском овраге был всегдашний шум от ударов молотов о железо, от визга и ляга пил и подпилков, роканья лошадей, крика и споров работающих. Над оврагом тянулась копоть и дым от кузниц, запах краски, лака и помоев.

По дну ложбины, по направлению к селу Высоково, протекала речка, вернее ручей, имея началом местность у Звездинских оврагов, близ Акулининской слободки. Бурливая в весеннее время речка Ковалиха летом почти пересыхала. В позднейшие годы старая купеческая управа пыталась засыпать эту ложбину, но все попытки эти разбивались о непреклонную волю озорной, бурной речки-ручья: принимая в свое русло сток весенних вод, грязи, помоев, мусора, Ковалиха в одну весну смывала все сооружения, превращая местность на долгое время в непроходимую и непролазную трясику. По ночам эта трясица оглашалась отчаянными криками «караул» загулявшего, а нередко и трезвого обывателя, утопавшего в грязной, вонючей жиже.

Поздней весной и летом склоны ковалихинского оврага тонули в море зелени садов и огородов. Мастерские и обывательские дома на этом зеленом фоне отмечались какими-то темными пятнами. Зеленый весенний шум кустов и деревьев как бы поглощал крики людей и стук молотков о наковальни, а запах засохшей грязи и помоев, растворившись в густой весенней свежести, почти не ощущался...

В летний вечер, после утомительного рабочего дня, публика Ковалихинской окраины собиралась группами около своих домов, в садах и на лужайках. На ступеньках парадного крыльца, обе двери которого широко распахивались на улицу, размещался весь дом — мужчины, женщины, девицы. Смех, шутки, семечки, орехи, пение хором под аккомпанемент дешевой гитары.

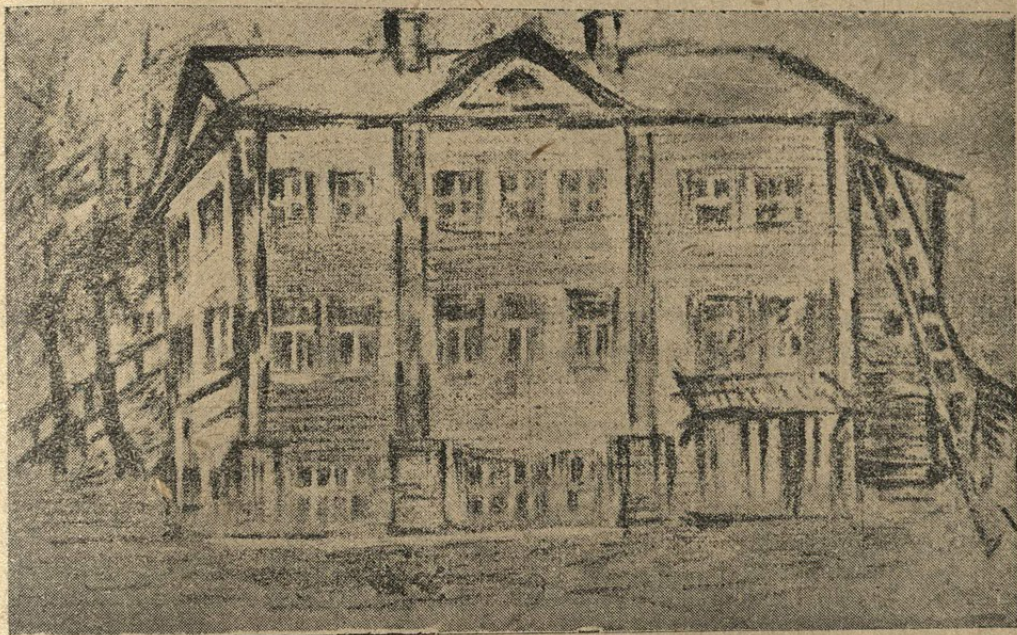
С вечера от окраинных трактиров Распопова и Лямаева порой неслись песни мастеровых, загулявших в компании с ломовыми извозчиками. Нередко песни прерывались криком драки.

Из домов выбегали люди выручать своих.

Садится солнце за каменным перехватовским домом. Засветло ужинают и ложатся спать, не зажигая огня... И

ты, как раз в полдень. Отец обедать идет, а ты ему навстречу».

Мастерская, где работал Максим Савватейч была рядом с домом на Ковалихе. Сады обеих усадеб были смеж-



Дом на Ковалихе, в котором родился М. Горький.

только в изгороди глухого сада, у отдельных дворовых построек и флигелей долго еще слышатся тихие голоса запоздалых гуляльщиков...

На этой отдаленной нижегородской окраине, в надворном флигеле, стоявшем в полу-горе обширной застроенной усадьбы цехового старшины нижегородской ремесленной управы Василия Каширина 16 марта 1868 года родился Алексей Максимович Пешков — будущий писатель Максим Горький.

Отец Горького — Максим Савватейч Пешков был рабочий столярного цеха города Перми. Столярному ремеслу он научился в детстве у своего отца, но затем убежал, водил слепых по ярмаркам и 16 лет, приехав в Нижний, стал работать у подрядчика — столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он уже был хорошим краснодеревщиком и драпировщиком.

В рассказе бабушки место и время рождения писателя указано точно:

«Поселились они (молодые Пешковы) во флигеле, в саду, там и родился

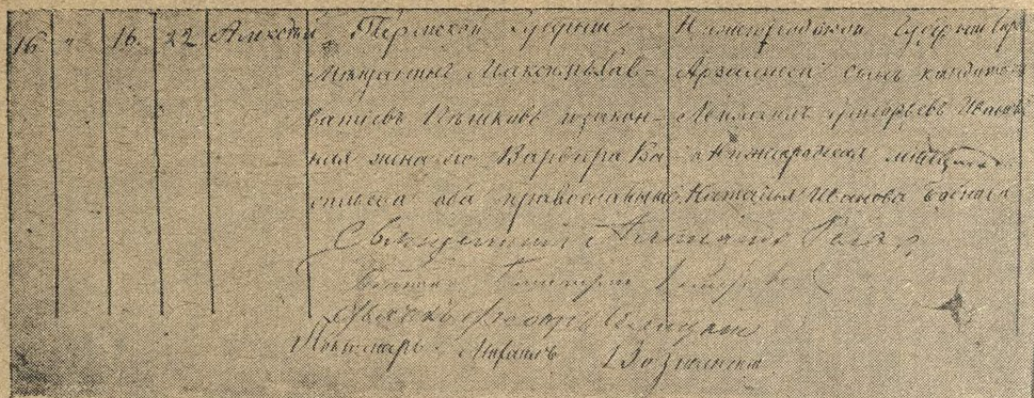
ные, что до известной степени способствовало сближению ковалихинской молодежи — будущих супругов Пешковых.

«Собираем мы с Варей малину в саду», — рассказывает бабушка, — «вдруг отец твой шасть через забор. Эдакий могутный, в белой рубахе, в плисовых штанах и босой, без шапки, на длинных волосьях — ремешок. Это он свататься привалил».

Свадьба состоялась уходом. Об этом рассказывала все та же бабушка, и эта версия наиболее правдоподобна. Дед писателя Каширин, в то время богатый человек, не мог, конечно, примириться с фактом добровольной выдачи дочери за столяра с ремешком на путаных волосах. И не даром, глядя на красавицу Варвару Васильевну — мать писателя, старик Каширин хвастался:

«За дворянина выдам, за барина!...».

А умная, понимавшая жизнь и людей старуха бабушка, способствовавшая браку дочери, определяла события яснее и проще:



Выписка из метрической книги о рождении М. Горького.

«Вот те и дворянин, вот те и барин», — говорила она после свадьбы, — «пресвятая богородица лучше нас знает, кого с кем свести»...

Усадьба деда писателя — ремесленного старшины Каширина, была весьма обширна. Помимо дома № 29, выходящего на Ковалиху, на дворе было еще три дома-флигеля.

Старик Каширин в год рождения писателя был одним из богатых ремесленников города. Четыре больших дома и оборудованная мастерская давали ему значительный доход.

«В чести был», — говорили про Каширина, — «шляпу ему дали и с позументом, да мундир за то, что девять лет бесшумно старшиной в цехе сидел...».

Дома-флигеля, в котором родился писатель, как известно, в данное время не существует: в двадцатых годах его разломали на дрова. Произошло это так. Дом № 29 на Ковалихе со всеми флигелями и надворными постройками перешел в ведение какой-то организации местных швейников. Самый дом на улицу и рядом с ним стоящий во дворе флигель не так давно, после пожара, перестроены. Второй флигель не сгорел, но, имея весьма почтенный возраст, стал разрушаться. Старое нижегородское купеческое городское управление относилось к М. Горькому спокойно-равнодушно. Богачи — купцы Бугров, Башкировы, наружно очень почитали писателя, им было любопытно видеть в Нижнем человека, который по доходившим до них рассказам жил в притонах нижегородской «Миллионки», ночевал в «бугровском» ночлежном приюте, получая койку для спанья,

а утром при выходе бесплатно полтора фунта черного хлеба, они даже ухаживали за ним, когда имя Горького с каждым днем становилось все более популярным, но, конечно, никто из этих купеческих почитателей не подумал, да и считал это смешным и странным, заботиться о сохранении дома, в котором родился писатель.

Разваливающийся дом-флигель старая управа решила разобрать, сломать.

Швейники, приняв дом с такой аттестацией, не постарались, конечно, в 1920 году особо детально продумать вопросы исторического порядка и значения. Перед владельцами дома стояли простейшие, ясные задачи: или идти всем коллективом в нижегородскую Марьину рощу пилить там сырой дубняк, тащить его на своих плечах за три четыре километра в город, разжигать печи, проклиная сырые дрова, или на месте, у себя под боком разобрать громадный дом, получить прекрасный, просушенный горючий материал — бревна, доски. Так швейники и сожгли этот исторический дом-флигель.

В самом начале революции домом заинтересовался один из жильцов — техник Павлов... Он зарисовал его.

Опросы старожилов устанавливают, что на старом флигеле, до его сломки, можно было видеть отметки на окнах квартиры, в которой родился писатель. Два крайних окна слева в среднем этаже были в квартире молодых Пешковых и их сына.

Усадьба, где был исторический дом, находится в ведении жилищного товарищества, которое знает об этом доме и намечает самостоятельно отметить

значение его. Весной 1935 г. домовое место средствами жакта намечено превратить в детский сад-цветник, по середине которого будет поставлен бюст писателя, над входом в усадьбу со стороны улицы решено поместить краткую красноречивую надпись:

«Здесь родился Максим Горький».

В доме на Ковалихе писатель прожил около трех лет. Отсюда с отцом и матерью поехал в Астрахань и прожил там до августа 1873 года.

Похоронив в Астрахани отца, умершего от холеры, а в Саратове брата Максима, родившегося в Астрахани перед отъездом, пятилетний Алеша Пешков с матерью и бабушкой вернулся в Нижний, где и поселился в доме деда, переехавшего на Успенский с'езд. После пожара мастерской, выделив сыновей, дед купил дом на Полевой и, прожив здесь недолго, переехал в новый дом в конце Канатной улицы на окраину Нижнего близ изрытого солдатскими лагерями и оврагами и беспредельного поля, с «Кадочкой», анатомной, еврейским кладбищем, вольными хуторами, живодерней, собачьим двором, конной базарной площадью и Ивановским полем с его июньской шумной ярмаркой, каруселями, балаганами, печами-плитами, на которых жарились такие вкусные пышки, облитые постным маслом и посыпанные сахаром. В этой обстановке старой окраины, будущий писатель жил несколько лет, впечатления картин такого детства нашли отражения и в его произведениях... Да это так понятно: жизнь старого нижегородского поля и улицы была полна значения и интереса.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ

Конец семидесятых и начало восьмидесятых годов совпадает с жизнью мальчика Пешкова в районах Канатной улицы — вначале в доме деда Каширина в конце улицы на выходе ее в поле, а затем, после некоторого перерыва, в услужении в семье родственника-чертежника на Звездинке. Дом этот, бывший Гогина, сохранился. В настоящее время перед ним благоустроенная улица и бульвар, а в дни жизни здесь будущего писателя дом стоял на краю глубокого Звездинского оврага.

После продажи дома на Успенском с'езде дед с семьей и мальчиком-вну-

ком переехал на Полевую, а через год — во вновь купленный дом на Канатной.

Жизнь в доме на Полевой для ребенка была обставлена сплошным ужасом семейных раздоров и зверских выходок родственников, добивавшихся наследства деда и усматривавших в матери писателя опасного претендента на это наследство. Яркие по своему художественному отображению страницы «Детства» с их жуткой, захватывающей правдивостью отражают дикости людей провинциального болота. «Мещане» и ряд других произведений, иллюстрирующих худшие стороны подлинного «мещанства», своим началом имели жизнь в доме на Полевой.

Районы Канатной и Напольной улиц старого города соприкасаются. Упирались они в беспредельное тогда чистое поле с оврагами, свалками, «Кадочкой» и целым рядом других незабываемых мест, вокруг которых сосредоточилась привольная, беспечная, свободная детская жизнь с ее забавами, горями и радостями, с ее детской отзывчивостью, добротой и детской жестокостью. Последняя создавалась и крепла среди ребят городского окраин на почве известного молодечества, удали. Более глубокие причины этого явления надо искать в условиях определенного влияния взрослых. Основным развлечением последних был в то сумрачное время кровавый бой «стенка на стенку», бой до увечья, до смерти.

Во всех заранее намеченных праздничных боях ребята принимали самое горячее участие, начиная мелкими стычками между собой вводить в дело более крупные боевые единицы, вплоть до общей свалки.

М. Горький, как и сам он отмечает неоднократно, в детстве тихоней не был.

«Меня не пускали гулять на улицу», — вспоминает он, — «потому, что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребята относились ко мне враждебно, мне не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу: «Кащя Каширина внученоч вышел, глядите. Валяй его...».

«Был я не по годам силен и в бою ловок — это признавали и сами же вра-

ги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда была меня и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли».

Воспоминания о детских годах писателя жителей - старожилов Канатной улицы резко не расходятся с личными воспоминаниями М. Горького.

Воспоминания старожилов можно суммировать в таком виде:

«И сколько этот парень стекол в улице побил, и не сосчитать. Озорной был...».

Бой-парень известен был также старикам обывателям как частый посетитель Ново-Сенной площади, смежной с Канатной улицей, где он вращался в кругу взрослых — торговцев, цыган-кономенов. Обстановка своеобразного торгового обмена, повидимому, захватывала его своей бытовой красочностью. На площади, среди цыган, крестьян, лошадей он старался вести себя, как взрослый и при том как опытный, выдавший виды кономен. Спокойно задал рукой в рот лошади, оттягивая ей на сторону язык, чтобы покупатель мог сосчитать зубы. Равнодушно, как истый барышник-цыган, пинал лошадь ногой под брюхо:

«Стой, дьявол, вот я тебя брыкать-ся...».

Сколько фотографической правды в этих рассказах жителей — сказать трудно, но факты наличия своеобразного молодечества, удалства, ухарства имели место среди большинства окраинных ребят того времени. Отличался всем этим и Алексей Максимович, у которого это молодечество выражалось в более резких и оригинальных против других формах.

Начиная с самой ранней весны, вся уличная детвора с Канатной, Напольной и Ново-Сенной большую часть своего детского времени проводила в поле.

У домов снег, а в поле уже проталины. Прыгать по этим проталинам, добежать до них босиком по нарастающему льду и холодной грязи — любимое дело. Ребята студились, хворали, умирали, но проталинам не изменяли.

Яркая горячая весна, жаркое лето. Весь ребячий мир без вражды и злобы объединился в одном пункте: на «Кадочке»!

«Кадочка» — ключ студеной, чистой воды в одном из оврагов. Ключевая вода идет по оврагу небольшим ручейком, отсюда попадает в низину, горловина которой запружена. Создан глубокий пруд.

Это купальня для детей окраин.

Сотни ребят с криком и визгом с утра до вечера полоскались в грязном илистом пруду. У берега с одной стороны отмачивались бочки «вольного хутора», расположенного на пригорке. В этих бочках по ночам возили нечистоты. Но все это не мешало ребятам прыгать в воде и нырять в грязный ил. Чистой воды здесь было мало. Не удивительно, что ребята окраин по целому лету ходили в грязи и ципках.

Поздней осенью, когда промерзлая земля ждет обильного снегопада, когда птицы — щегленок, снегирь, так охотно и легко идут под сетку и в чапки, в оврагах, около Канатной, на небольших лощинах, среди оголенных кустов строились усады.

Стороны площадки утыкались кустами репейника, на середине, на расчищенном месте ставили воду, сыпали конопляное семя.

Часами простаивая у конца длинной веревки от сетки, или круга, ребята-птицеловы передрогшими губами подманивали красногрудых снегирей, подражая их своеобразному хрюканью.

Вот с важностью чиновной особы, перепрыгивая с ветки репейника на землю, снегирь осторожно приблизился к корму.

«Раз!..»

Натянутая веревка перебросила половину круга с сеткой, прикрыв последней птицу.

«Попался, пузан.. Пожалуйте в клетку!..».

Таковы были радости детства окраинной детворы, среди которой жил Алексей Максимович, непосредственно участвуя в создании этих радостных встроений.

Жаркий летний день. С самого утра ребята окраин направляются на весь день на Волгу купаться. Путь один и тот же: по Провиантской улице, через Откос, мимо Курбатовской фабрики на плоты-однорядки, согнанные сюда из глубин Макарьевского уезда по лесной Унке.

По пути перед откосом дом-дворец «бурмистрихи». Этот интересный дом с своеобразной жизнью его владельцев и обитателей остался в памяти на всю жизнь.

Через стеклянные двери видна широкая мраморная лестница в два марша. На белых стенах и по потолку ряды причудливых украшений в купеческом стиле: херувимы с крылышками, цветочки.

Владелица дворца Варвара Михайловна — «рукавишниковского» рода. Того «проклятого рода», о котором ее племянник поэт Иван Рукавишников написал в девяностых годах много томный роман.

Дом-дворец на Жуковской улице построен давно. Пятьдесят лет тому назад он, в нынешнем виде, уже украшал город наравне с другим «рукавишниковским» домом на Откосе, принадлежавшим отцу автора «Проклятого рода».

У «бурмистровского» дома и тогда — пятьдесят лет назад — был широкий асфальтовый тротуар, чуть ли не единственный в городе, а против дома, во всю ширину квартала от Жуковской до Набережной, за высоким забором красовались «бурмистровские» оранжереи.

Земляника, клубника, персики в январе, букеты живых цветов на обеденный стол — круглый год.

Из «бурмистровской» кухни — высоких светлых комнат в нижнем этаже с блестящими медными решетками на открытых больших окнах — так всегда хорошо и вкусно пахло.

Босые окраинные ребята с жадным любопытством и детской доверчивостью, схватившись ручонками за ярко начищенные медные прутья, подолгу наблюдали за всем, что делается на кухне. Весело и интересно трещали куски румяного мяса на громадных противнях. Толстый пожилой повар в белоснежной куртке и таком же колпаке по несколько раз ворочал потрескивающие и шипящие на жару громадных плит куски мяса, а затем начинал резать от них ровные пласты к завтраку.

«Целого быка жарят к бурмистрихе», — перешептываются ребята у окна, — «неужели одна все слопает?..»

Иногда ребятам попадали кости, куски мяса, а бывали случаи, что «старший», шутя или сердясь, плескал в детскую группу кипятком.

«Гляди, налаживает пузан», — предугадательно кричали ребята, отшатыраясь от медных кухонных решеток.

В доме-дворце был вечный праздник. Обильные завтраки с тонкими винами сменялись поездками за город в каких-то особенных, невиданных здесь, мягких, просторных и, повидимому, очень удобных экипажах... Длительные обеды в бурмистровском дворце заканчивались карточными вечерами. Хозяйка всегда была окружена толпой близких, которые за обильные угощения и как бы обязательные проигрыши в карты славословили радушную Варвару Михайловну, начавшую после 30 лет сильно тучнеть и брюзгнуть.

Так шли годы беспечального и как бы бесконечного существования. Вокруг «бурмистровского» дома кипела жизнь, борьба, страдания, а во дворце-особняке все было по старому. Менялись иногда люди-слуги, но это проходило как-то незаметно. Толстый повар, плескавший в ребят кипятком, начал слепнуть. Хозяйка, за ней и гости стали замечать, что художественные соуса теряют свой прежний вкус, аромат, пикантность. Старика уволили, а у плиты встал его помощник, помоложе, но уже такой же толстый.

Прошло еще несколько лет и наступило что-то странное и непонятное для хозяйки дворца: ни поваров, ни прислуги, ни друзей не стало. Сразу все как-то схизнуло, испарилось. Вместо них перед глазами Варвары Михайловны появились какие-то новые люди.

Старая, привольная жизнь беспомощно посторонилась и отошла в сторону. Хозяйка поселилась в двух небольших комнатах, а затем выехала на окраину города в низенький мезонин. Вскоре, как-то быстро, почти не хвоя, Варвара Михайловна умерла.

Из всей старой дворни, толпы когда-то близких друзей, в «бурмистровском» доме, обращенном в музей им. Горького, осталась худенькая старушка — «рукавишниковская» прислуга.

Вот она стоит у перил широкой лестницы, смотрит вниз на парадную дверь и как бы ждет:

«А кто пожалует с визитом?».

В отворенную дверь вливается волна молодой жизни — толпа юных экскурсантов. Веселым говором, смехом наполняется большая передняя.

«Милости просим!» — радушно говорит старушка, внимательно принимая груды галош и шапок.

«Пожалуйста!».

По мраморным ступеням «бурмистровской» парадной лестницы, в роскошный зал, занятый музеем, двинулась молодёжь, приветствуя по пути великого писателя, вышитый шерстью портрет которого — подарок далеко-близкой и родной Армении — висит прямо перед входом. Ласково смотрит он на ребят, улыбается, как бы вспоминая то далекое время, когда имя его в этих стенах с мраморными колоннами произносилось с ужасом и отвращением, как страшный призрак смерти кучки одиноких людей, конца их сытой, беззаботной и привольной жизни.

А в дверях новые гости.

Заботливо складывая в другой угол кучу галош, старушка говорит:

«Вы из Сормова? Очень хорошо. Галоши ваши вот здесь у окна будут, попомните!».

Хорошо раннее детство.

Но особая прелесть уличного, окраинного, малоприторного детства, полного жизненного практического смысла и неизгладимых на всю жизнь впечатлений.

«Дети улицы» — такова была кличка окраинных ребят с их яркой красочной обстановкой детского бытия, с густой крапивою в пахнувшем сыростью и гнилью саду покосившегося домика с гулкой, чугунной защелкой у калитки, с куском черного хлеба на весь длинный летний день, с торчащими в разные стороны белокрасными вихрами и несмываемыми веснушками на курносой физиономии. Детство ситуевой рубашки без пояса, подол которой почти всегда замаран сладкой пареной грушей и залит квасом — результат коммерческих сделок на обмен грушнику костей, тряпок, железа. Детство коротких бумажных штанишек, застегнутых на одну большую пуговицу от старой материной кофты, с широкой откровенной прорехой, протертых на коленях от бесконечного лазанья по заборам и крышам.

Золотое, милое детство!..

В кустах бузины с едким, приторным запахом от пучков раздавленных ягод кучка ребят. Главарь — подросток, лет десяти, одиннадцати. Грамотный, учится в «Полевом»... Он уже читает зани-

мательные книжки «про индейцев». В руках у него простая глиняная трубка с деревянным мундштуком, набитая махоркой.

Рассказывает с увлечением:

«Десять жарких лет прошло с тех пор, как Джон был молод, высок как сосна, быстр, как пуля Соколиного Глаза, силен, как буйвол, ловок, как черная кошка».

Нижегородские «индейцы» слушают, затаив дыхание.

«Когда его племя преследовало макуасов, глаз Чинчангука находил следы их мокассинов»...

«Ни один воин не приносил из битвы столько скальпов, как он»...

«Его пуля всегда догоняла оленя!»...

Рассказывая, подросток вынимал из кармана рваных штанишек сверток серных спичек, чиркал одну из них по коленке и, не дав разгореться огню, прикладывал пламя с серным дымом к махорке.

«Когда курили «трубку мира», то индейцы выпускали табачный дым из глаз»...

«Трубка мира» начинает переходить по очереди изо-рта в рот. Глотая едкий, махорочный дым, ребята давятся и кашляют. Из глаз дым не идет, текут только слезы.

Позднее, «трубку мира» сменили папиросы «Персичан». Узенькая, тщательно заклеенная пачка с тремя папиросами стоимостью в одну копейку.

Август. Праздничный день, городской престол, преображенье. На ярмарке один из гулевых дней.

Получив праздничный пятак, а некоторые и гривенник, ребята окраин после обедни собираются на громадной, шумной, веселой, пьяной, озорной, ярмарочной площади.

На Самокатах...

Гурьбой и в одиночку, теряя друг друга и опять сходясь, они как рыба в воде, среди моря человеческих голов, шапок, шляп, фуражек, платков, кафтанов, пиджаков, полосатых рубах, сарафанов, городских модных платьев, сапог, туфель, лаптей, босых ног. Кафтаны и поддевки чередуются с разноцветными и разноплеменными халатами хивинцев, бухарцев. Тюбетейки вперемишку с теплыми бараньими шапками... Бородатые, бритые лица, кра-

шеные ногти, кудлатые, серые от пыли русые головы...

Над толпой солнце. Жаркое, пекущее летнее солнце.

И вся эта громадная, наполненная людьми площадь гудит. Общий гул покрывает отдельные крики, то гневные, то веселые. Брань, ругань.

В центре площади резко возвышается среди людского моря что-то большое, несуразное, страшное и по своему красивое...

Это Винтер...

Знаменитый Винтер — краса и гордость Самокатской площади... Яркое, несмываемое, незабытое до самой глубокой старости пятно детских воспоминаний.

По всей лицевой стороне здания балагана — расписные полотнища, флаги: в центре громадный оркестрион — музыкальная машина, издающая страшно мощные, оглушающие звуки. Расходящиеся в стороны чудовищные, медные рога, узкие в центре и широкие, как парходные рупора, в конце, поражают своей величиной и оглушают исходящим из них свистом, воем и каким-то шипением. Звуки эти как бы покрывают шум всей громадной площади.

Рядом с Винтером «паноптикум». Дальше — зверинец, говорящая голова — человек-рыба, занимательная панорама — переход русских войск через Дунай. Взятие Силистрии. Осада Плевны.

«Турки валяются, как чурки, а русские без голов стоят да трубочки раскуривают»... А против — карусели. Громадные, отделанные красной материей и стеклярусом... Деревянные кони, как настоящие: с гривами, седла со стременами...

В центре площади, у Винтера, как-то неистово загудела машина... Зазвонил несуразно колокол. Оркестр трубачей вместе с турецким барабаном заиграл что-то страшно сильное. На балаганный балкон начала взбираться толпа людей-артистов в самых разнообразных костюмах. Поднимаясь на балкон, эти люди играли на разных инструментах, кричали, хлопали в ладоши, плясали, подпрыгивали, толкали друг друга, а впереди всех, заняв место на барьере «рауса», свесив с барьера, обутые в лапти ноги, ярмарочный дед-потешник,

дед-зазывальщик, дед-дирижер и руководитель уличного наружного представления. У «деда» громадная, сделанная из пакли, борода, такой же парик, на голове войлочная шляпа, в руках балалайка.

Ребята у приступков входа в балаган, впереди всех. Затаив дыхание, стараются не пропустить ни одного слова из этой массы речей, стихов, прибауток, песенок, которые несутся в толпу с «рауса».

«Сюда, сюда. Вот сюда, почтеннейшая публика!», — кричат в толпе зазывалы.

«Сейчас начинаем. Вот начало экстренного, блестящего представления. Разбирайте проворней билеты, господа. Вот начало, вот начинаем...»

Из публики боком пробираются к кассе отдельные лица и семьи.

А на «раусе» царит дед.

Под аккомпанемент звуков он затягивает песню, трясет бородой, болтает ногами, обутыми в лапти.

Жена моя профессорша

Три двойни родила...

И сорок восемь месяцев

Беременна была...

В публике гремит хохот. «Вот так профессорша» — слышатся крики.

Ребята смущены и встревожены. Им ужасно жалко несчастную профессоршу. Они уже знают, что значит «родить». В их окраинном житейском обиходе, общежитии больших семей известно это слово, понятны и действия старухи-бабушки, которая в тяжелые минуты родовых мук выгоняет ребят на улицу. А иногда стоны и крики роже-ниц-матерей и теток заставляют ту же старушку-бабушку использовать услуги быстрого внука, чтобы сбегать к «батьюшке» и просить его открыть «царские двери» для облегчения трудных родов. Все это многим ребятам хорошо известно и смущение их при «трех двойнях» так понятно.

«Ах, подлец, что выделывает», — неслется из толпы по адресу веселого деда, а дед, как бы не слыша приветствия и не реагируя на него, продолжает бросать в народ куплеты, остроты, шутки, зазывая в балаган.

Голос деда охрипший, пьяный, но слова так удачны, метки, — дед так колоритен, так близок толпе, ее вкусам и настроениям. На «раусе» дед, как дома: вперемежку с пением он ведет беседу с отдельными лицами из публики.

Изощряется в остроумнейших прозвищах, не стесняется оскорблять некоторых из публики обидными кличками, смеется над физическими недостатками: кривыми, хромыми, рыжими, косыми. Каждому дается определенная кличка и, чем обиднее название, тем громче хохот в толпе.

«Ловко, ай да дед... Как тяпнул!»...

Обиженный и осмеянный виновато улыбается, а затем быстро проходит к кассе брать билет.

Почти рядом с Винтером — панорама, тут же гворящая голова.

Объяснения дает «всемирно-известный артист» «мимист» и «иллюзионист» мистер Бартало — черноватый человек с усиками стрелкой. На нем грязный, с чужого плеча фрак и кепка. В руках длинный бич, которым мистер Бартало производит, как в цирке, хлопающие удары.

Голова и часть туловища женщины-рыбы — полной блондинки — густо обсыпаны пудрой.

«Имею честь представить вниманию почтеннейшей публики», — говорит мистер заученную речь, — «чудо природы современной культурной Европы. Живая голова человека-женщины с рыбьим туловищем, скрытым от нескромных взоров почтеннейшей публики по техническим соображениям. Живая голова пьет, ест, курит, говорит. Можете предлагать ей вопросы на любом языке, но отвечать она будет только по русски. Найдена в океане, близ Нью-Йорка. Настоящего своего отечества не знает и не помнит».

«Кто вы?» — неожиданно спрашивает артист с хлыстом, обращаясь к голове. — «Отвечайте публике».

«Флора», — чуть слышно говорит голова.

«Откуда вы?» — грозно спрашивает хлыст.

«Из Бостона».

«Любите ли вы почтеннейшую публику?»...

«Голова океана» улыбается и чисто по-русски отвечает:

«Очинно всех абажаю»...

Сеанс окончен. Публика, толкаясь и стуча по наскоро сбитым доскам помоста-выхода тяжелыми деревенскими сапогами на гвоздях, суетливо, хозяйственно толкаясь, выходит из балагана.

Пять часов вечера. Августовское солнце спускается к группе деревьев около

белого здания мечети, к вышкам никитинского каменного цирка. Кое-где на площади углы тени. Пыль густым слоем висит над толпой. Гул, шум, крики, звуки музыки не ослабевают, а как бы нарастают с новой силой.

Рядом за балаганами мертвое Мещерское озеро с кустами тальника по изрезанному колеями неприглядному, глинистому с притоптанной травой берегу.

Тут же на берегу кухни. Ряд досчатых шалашей с плитами-печами, с глубоко вмазанными в последние котлами для варки пищи. Пахнет горячими, жирными, мясными щами. Густой пар поднимается от чашки.

«Подлить что ли?» — говорит толстая, грудастая торговка, баба от старого Макарья.

Вечер. Солнце село. Около балагана зажигаются яркие огни-фонари. Много пьяных. На берегу у озера кучки гуляющих заканчивают праздник. Собирают в корзины остатки продуктов, посуду. Рядом спор, крики, драка.

Пора домой.

Выбравшись из шумной толпы, минуя освещенный подъезд цирка, откуда доносятся звуки особой цирковой музыки, мимо сада Тиволи с грязными дорожками, усыпанными закусанными яблоками, скорлупой орехов и семечек, по широкой заваленной бунтами товаров Нижегородской улице, путь в город.

Шум Самокатской площади, оставаясь позади, заметно стихает. По слабо освещенной улице, мимо товаров, мимо сторожей в дубленых тулупах и с увесистыми дубинками в руках и через плашкоутный мост — домой. Босые, зябнувшие ноги ступают по теплomu деревянному настилу моста. Над водой поднимается круглолицая луна.

Картина изумительная.

Впереди, на темной горе — город. В домах мелькают огни. Позади, над ярмаркой — зарево. Берег со Стрелкой, зданием громадного собора, сотнями судов на Волге и Оке в бледном лунном освещении... Огни идущих пароходов и баржей, сторожевые на караване, бакены, лодки, движущиеся с фонарями, звон якорных цепей, крик команды и мягкий длительный шум от непрерывной езды по мосту, цоканья подков о настилку, все это разливается и тонет в

теплом воздухе летнего вечера, переходящего в прохладную ночь.

В темный город поднимаются не поездам, карабкаются по тропам откоса, пахнущего пряностью отсыревших переросших трав и цветов и густой созревшей зеленью деревьев. Через овраги, переулки, через проходной двор Кия выход на окраину города к полю, к маленьким, вросшим в землю окраинным домикам.

Гулко стучит железный затвор калитки.

«Гулена, полуночник!» — слышится доброе ворчанье старухи-бабушки.

В сених душных и темных, рядом с кадкой посоленных огурцов, пахнущих укропом, чья-то любящая, заботливая рука послала войлок, бросив в головы теплую, мягкую, рваную шубейку.

«Спи, полуночник!»

Хочется вспомнить, привести в порядок впечатления этого прекрасного, всю жизнь незабываемого дня, но усталое тело требует покоя.

«Винтер... Паноптикум... Голова с хвостом...» — шепчут губы.

Глаза смыкаются.

Сладок и крепок сон детства!